

Дважды, летом 2008 и 2010 годов, в Ельце и деревне Польское под Ельцом у нашего «земляка», писателя из Ельца Александра Новосельцева гостил писатель, классик современной русской литературы, главный редактор журнала «Родная Кубань» (Краснодар) Виктор Иванович Лихоносов. Долгих полвека любовь к Бунину вела его в эти исконно русские, бунинские места. Они объехали окрестности Ельца, места, связанные с творчеством И. Бунина, М. Лермонтова, М. Пришвина.

«А вы знаете... напишите обо мне, будет гениальная вещь, и вы прославитесь на весь мир, – начал Виктор Иванович почти весело... Потом голос его потускнел, и он почти пропел в трубку – грустно, распевно... – о всех наших таких замечательных поездках, обо всём этом унынии, об этой вечной, вселенской заброшенности, в которой мы с вами ещё способны разглядеть и величие той самой России, и тот самый, бунинский, лермонтовский мир, и опишите всю эту глушь и запустение. И назовите всё это – "Скорбь"... Обещаете мне?.. пишите, дорогой мой, пишите непременно и не забывайте меня... Обнимаю вас».

«И поля, и раскрытое во всю ширину небо, и оставшиеся уголки усадеб и деревень, и колеи дорог, и татарник, кусты шиповника, и «дом Таганка» в Васильевском (Глотове) и (о чудо!) вороны над Озёрками и над храмом в Знаменском – всё возвышенной печалью напоминало мне о Бунине, которого я полюбил ещё в Сибири (в 1955 году), когда мне привезли из Москвы 6-томник в издании Маркса... И о себе самом вспоминал я в эти дни везде – в Польском, в Каменке, в Осиновых Дворах и в Васильевском, потому, что и моя жизнь прошла (почти). Дай, Господи, уцелеть нашей России, душа просит, ибо здесь, в бунинских местах, видишь её красоту, чувствуешь её историческое величие... Господи, береги Озёрки и дом Буниных...»

В. Лихоносов (из быв. Екатеринодара)

Озёрки, 4 сентября 2010 года».

О поездке с писателем В.И. Лихоносовым на родину Бунина вы прочитаете в дневниковых записях А. Новосельцева **«Скорбь... В.И. Лихоносов в бунинских местах»**.

Администрация сайта «Земляки» от своего имени и от имени всех любителей русской классической литературы поздравляют Виктора Ивановича Лихоносова с Днём его рождения и желают ему творческого долголетия и многих лет жизни во здравие и во славу русской литературы.

СКОРБЬ...

В.И. Лихоносов в бунинских местах

Дважды, летом 2008 и 2010 годов, у меня в Ельце и деревне гостил Виктор Иванович Лихоносов. Долгих полвека любовь к Бунину вела его в наши, бунинские, места. Первая поездка, в дни выездного пленума, познакомила нас. Накануне пушкинского юбилея мне позвонили из Союза писателей, и знакомый голос издалека и как-то осторожно спросил:

– Ты уже, наверное, слышал, что мы проводим Пушкинские праздники в Липецкой области. Будет пленум, на родине его предков юбилейные мероприятия проводятся, писательские встречи. Ты в эти дни где будешь?

– В Ельце.

– Замечательно! Мы обязательно и в Ельце проведём писательские встречи. Со студентами, например, выставку фотографий там откроем. Перечень вопросов я тебе

электронкой вышлю. Ты уж помоги там, предупреди ректора в университете, власти, переговоры, что, мол, писатели приедут.

– Хорошо, сделаю. Программу только высылайте.

– Вышлем. Только к тебе ещё одна небольшая, но очень важная просьба будет. От Союза.

– Какая?

– Да мы официально весь секретариат и правление уже предупредили, а Лихоносова пригласить поручаем тебе. Лично. Он ведь так Бунина любит и всю жизнь мечтает попасть в ваши края. Ты бы смог сам позвонить ему, договориться и встретить его? – и, не давая мне времени осознать такое неожиданное предложение, заторопился. – Он ведь, Виктор Иванович, человек своеобразный, а вы с ним, как мне кажется, такие родственные души. Бунинские. Нам он ни да, ни нет не сказал. А тебе он не откажет. Пригласишь?

– Да мне... как-то... мне – и Лихоносова!

– Ручка есть? Пиши давай.

И он продиктовал телефон Лихоносова, взяв с меня слово обязательно пригласить Виктора Ивановича.

– Записал? Ну, пока. Электронку жди, с программой.

– Постой!

– Чего?

– Он-то хоть в курсе, что за мероприятие? Чего мне ему говорить-то?

– Да ничего! Назовёшь себя, скажешь, что из Ельца, он о тебе уже знает, да пригласи. Обо мне не говори, что я тебе звонил, скажешь, что ты в составе оргкомитета и приглашаешь в Елец. А обо мне лучше не говори. Только по телефону говори погромче, он слышит неважно. Пока. Обнимаю.

В одной руке я держал трубку, в другой – листок со строчкой цифр, следом за которой стояли слова, обозначающие для меня мир литературной классики: Виктор Иванович Лихоносов, и стоит только собраться и позвонить – и услышу голос самого Лихоносова. Долго примерялся – что и как говорить. Раз обещал – надо звонить. Решился – позвонил. Из того разговора я мало что запомнил, в памяти остался только глуховатый голос и то, что он, этот голос, обрадовался, когда я представился и сказал о Ельце, и о Бунине, и о приглашении. Этот обрадованный голос сказал, что непременно приедет, попросил меня продиктовать мой телефон, чтобы он записал ручкой, и сказал, что перезвонит мне, чтобы сообщить номер поезда и время прибытия.

Всё потом состоялось – и его поездка, и моя встреча с ним, и четыре проведённых вместе дня: наскоро, из-за писательских встреч – суетных, но очень душевных. Впечатлений было много, а времени – ничтожно мало. Он уехал, и в частых его звонках ко мне всё время звучала тоска из-за ничтожно малого времени, проведённого на бунинской земле. Два года я «сватал его» и к Ельцу и – особо к Озёркам и окрестностям, сулил ему зимой тёплые валенки, и лошадь с бубенчиками, которая вмиг домчит нас от Озёрок до моего дома в Польском, и тёплую печку, и тихие зимние вечера, и покой – ровно столько, насколько ему захочется. Несколько раз мы встречались в Москве, в Союзе писателей, и он всё жаловался на свою – уже кажущуюся ему ненужной – занятость, и всё говорил, как он завидует мне, что я каждый день хожу по бунинской земле, а его всё никак не отпускают – то дела, то больная матушка, которую он не может оставить надолго. Но через полтора года матушки не стало, и в августе он позвонил мне:

– Ну вот, наконец-то, у меня намечается поездка к молодому Толстому в Ясную Поляну, и я так хочу заехать на несколько дней в Елец, к Бунину, и к вам, его прямому наследнику. Примете?

– Конечно, Виктор Иванович! С радостью! Я только съезжу в Карелию машиной, и в конце августа вернусь.

– За-ме-чааа-тельно, – протянул Виктор Иванович. – Я тогда на обратном пути заеду в Бутурлиновку, на родину моей метушки. Я всё обещал ей съездить и рассказать о местах, где

она выросла. Всё стремился, всё собирался, а вот не успел. Теперь – мой долг перед ней, и я его должен исполнить.

Договорились на последние числа августа.

29-го августа, поздно вечером, а по осенним меркам – уже ночью, я встречал его с поезда. Когда в темноте между пристанционными огнями появился яркий движущийся глаз локомотива, раздался звонок:

– Александр Василич! Вы где?

– Я на вокзале, уже вижу ваш поезд.

– Ну, хорошо... я в первом вагоне...

В светящемся стекле первой двери первого вагона медленно проплыл его знакомый профиль, и я махнул ему рукой...

– Примите сумки мои, их у меня много.

Мы обнялись на перроне. Даже в свете фонарей, неярко-резких, лицо его показалось грустным. Грустными были глаза, и опущенные уголки губ, и брови домиком, и даже усы. Все последующие дни выражение это так и не покинуло его лица, словно он заранее убедил себя, что едет прощаться. Так и повторял он несколько раз потом, в разговорах, когда мы возвращались из очередной поездки или прогулки к одному из бунинских мест – Бутырок или Осина, Глотова или Петрищева-Рождества. То ли болезненное состояние, то ли постоянно живущее в нём чувство угасания России нынешней как продолжение её исхода, начатого в бунинские времена, – были причиной этой его грусти, больше похожей на скорбь.

И все эти дни мы, словно сопровождаемые Буниным, строками, сюжетами и настроением из его книг и дневников, скорбели вместе. И уж ему-то, Виктору Ивановичу, даже приметилось во мне то усугублённое его скорбью и моё состояние всё растущей скорби:

– Что-то вы, А.В., такой грустный...

А у меня, слушая его краткие, часто повторяемые междометия, произносимые им с лихоносовской интонацией:– Да-а-а... или – Оё-ёй... – от всех его грустных слов при виде очередного запустевшего места холодело сердце и наваливалась такая тяжесть и тоска, которые прежде не были мне знакомы в такой силе, избыть и пережить которые, как казалось, не смогу ни через какие добрые вести или праздники.

А ему, не делавшему и десятка шагов, чтобы не остановиться и не снять очередное одинокое дерево или очередную руину дома или храма, травинку или кусочек чернозёмной дороги, или берёзовую аллею, – ему так хотелось во все эти дни вместить в сердце и память, и от осознания этого бессилия запечатлеть весь этот бунинский мир, и от того, что им остро вдруг воспринимались и бунинская тоска, и бунинская досада на ту ещё бедность, видимую ещё век назад; и он лишь только со вздохом очередной раз говорил свое длинное «да-а-а...» И как же это «да» казалось вдруг похоже на то, как произносил его мой дед Алексей, отломавший три войны, начиная с империалистической.

Так и ходили мы втроём с невидимым, но ощущаемым во всём Буниным.

– Без Бунина я бы не состоялся. Он меня просто спас... – несколько раз повторял Лихоносов. – Читая Бунина, я понял, что сюжет не так важен, важно переживание. То самое, что обычно у писателей не читается: описание природы, состояние героя – это обычным читателем просто пролистывается. А как же может существовать природа у Бунина отдельно от человека? Ведь это он, герой или автор, ощущает, он же живёт среди этого всего.

В первый вечер, по приезде в Елец, я поселил его в гостинице о. Василия, что рядом с Великокняжеским храмом. Виктор Иванович заранее несколько раз просил меня договориться с о. Василием, и тот не отказал:

– Как же! Помню. Пусть заселяется и выбирает любую гостиницу.

Я выбрал эту, у храма.

Занесли вещи. Пробыл я несколько минут, пожелал ему спокойной ночи и завтрашнего, полного свободы, дня – мне предстояла поездка в Липецк, обыденкой, с возвращением к вечеру.

30 августа вернулся к 19 часам. Через полчаса грузимся с В.И. и едем в Польское. Машина, ещё не тронувшись, зачихала, и жена даже вышла из дома:

– Ну куда ты поедешь, ещё сломаетесь по дороге. Езжайте лучше завтра.

Но мы – едем.

Дом в Польском встретил нас уже в потёмках, с двумя оставшимися лампочками.

За ужином разговор шёл об Озёрках, которые мы проскочили в сумерках, чтобы успеть расположиться. Говорили, конечно, о Бунине, о его детских, юношеских годах, о его такой щемящей тоске по родному дому над прудом, в котором «качается звезда».

– А хотите увидеть эту звезду?

– Конечно!

И мы поехали в Озёрки.

Над Озёрками стояла тихая, безлунная, совсем-совсем бунинская ночь. Пахло тёплой застоявшейся водой и сырой травой. За усадебным домом, за лозинками над прудом, тоскливо желтели редкие огни деревни и слышался брёх собак. А в тёмных водах пруда качалась ясная, грустная звезда. Грустным нам казалось всё – и ночь, и звёзды, и одиноко стоявший на взгорке бунинский дом...

Легли поздно, долго ещё вздыхая и вспоминая ту звезду – единственного уцелевшего свидетеля того, бунинского, времени.

31 августа. Обсудив, решили ехать в самую дальнюю точку, которую наметил для себя В.И. – в Кропотово-Лермонтово.

Едем через Злобино. Останавливаемся у храма, где венчались Бунины, где похоронены их предки. Ясный, пронзительный день, с ветром и ярким солнцем.

В Кропотове остался один житель – 80-летняя старушка. Жилой вид деревне придают корова, стадо гусей и козы, пасущиеся у речной запруды, веселит крик петуха. Вся запруда речки Любашовки, согласно расставленным через каждые сто метров плакатам, является частным объектом, рыбалка и даже ночёвка здесь – платные. Кругом пестрят красные стрелки с надписью: «Оплата рыбалки» и показывают они на домик-вагончик, стоящий на берегу.

В усадьбе, которую я ожидал увидеть совершенно заросшей, как это было лет десять назад, когда я последний раз был там и продирался сквозь заросли, долго ища места дома и построек – теперь аллея прочищена, а на месте господского дома, на разровненной бульдозером площадке поставлен камень с памятной доской. На ней написано, что здесь был дом Лермонтовых, а чуть подальше, на поляне, стоят ещё два плаката и скамейки. На одном из плакатов нарисован дом Лермонтовых (я узнал свой рисунок, публиковавшийся в «Липецкой газете» лет 25 назад), а на другом – стихотворение Лермонтова, посвящённое отцу. Виктор Иванович прочёл его вслух.

– В восемнадцать лет написал!! – беспредельно удивился Лихоносов, прочтя дату, стоявшую под стихотворением. – Какие стихи – в восемнадцать лет! Мальчик, совсем мальчишка!.. О-ёй..

Он долго ходил вокруг старых вязов, обозначавших начало аллеи, и всё снимал самый старый, уже пустой изнутри, и оглядывал каждую его веточку, и гладил его свиливатую кору. Из нескольких небольших веточек вяза составил букет:

– А это я возьму к себе, буду смотреть, вспоминать Лермонтова...

Он потом срывал цветки и веточки, искал подходящий камень – всё это будет напоминать ему о Кропотове, как осколки минувшей усадебной жизни, как частички памяти о самом поэте.

Запруда сильно изменила пейзаж. Теперь вода, как сказала старушка, в собственности главы района. Частное владение, за пользование которым народ должен платить. Не в казну – в карман хозяина.

Дорогу в Шипово подсказала та же старушка. У неё двенадцать детей, все живут «кто где».

– Боюсь – помру, а скотину ни подоить, ни накормить будет некому...

Попетляли дорогой вдоль посадок, огибающих поля. Ещё издали показалась Шиповская церковь, словно вытянувшая шею, выглядывая нас пустыми глазницами высокого восьмерика из-за разросшихся кустов сирени. Окна нижнего яруса заколочены, но вход в широкой арке с западной стороны свободен. Где-то здесь, среди зарослей сирени, у стен храма упокоились родные дед и отец Лермонтова. В 80-е годы искали его могилу, чтобы перевезти к сыну в Тарханы, во владение не любившей его тёщи. Из нескольких безымянных могил выбрали одну, как показалось, «подходящую». Бренные останки и были перевезены. Но был ли то Юрий Петрович – может утверждать лишь «решение исполкома». Местного...

В храме вычищено, в центре под куполом стоит дубовый крест с повязанным расшитым рушником и надписью, поведавшей нам, что до 30-х годов в нём «служил священник Григорий Афанасьевич Оболенский. Мир праху его». А поставили крест «соболезнующие родственники и внук Владимир».

– Мир праху его, – повторил Виктор Иванович. Погладил крест и перекрестился.

Вокруг храма, сколько видно глазу – ни деревни, ни домика. Лишь через дорогу как-то весело, словно замещая следы утраченной жизни, голубеет крестами кладбище. Есть и свежие могилы, и цветы, и венки совсем недавние. И живёт здесь, и растёт одно лишь кладбище – замена шумевшей здесь когда-то жизни. За кладбищем начинаются тульские земли, но народ по-прежнему не по административному делению, а по родственному, съезжается сюда, «к своим», на вечное поселение.

Мысленно возвращаясь к этой церкви, Виктор Иванович несколько раз задумчиво скажет потом:

– Да-а... Жалко мне её. Вот мы здесь, а она – там. Одна стоит...

И я пойму, о чём сейчас грустят его глаза.

Его впечатления от очередного бунинского места неизменно заканчивались словами:

– Боже мой! В какой скудости проходило его детство, в какой глуши!...

И его слова, когда речь заходила о Бунине:

– А я ведь никогда не подражал Бунину. Но, читая его, я понял, как можно писать... этот его ритм изложения, его мелодичность.

И возвращались мы из Кропотова под привычное уже:

– ...Да-а-а... Иван Алексеевич, Иван Алексеевич.

В Кропотове нас застал звонок Комарова.

– Вы где?

– В Кропотове...

– А то петрищевские обещались подъехать к пяти вечера.

– И мы как раз вернёмся.

Виктор Иванович повеселел – ему предстояла встреча с петрищевскими. Петрищевские – это участники хора, которые ему так понравились в прошлый раз – и своими песнями, и простыми характерами: обычный народ сельский – и пенсионеры, и бывшие работники совхоза, а ныне безработные по причине развала хозяйства, и библиотекарь, и повар, и работники сельской администрации. Лихоносов просто «спелся» с ними и тепло вспоминал их.

На обратном пути заехали в Огнёвку. Здесь стоял когда-то дом брата Ивана Алексеевича – Евгения. Здесь писался его «Гайавата», здесь написал он «Антоновские яблоки», запах которых я «услышал», впервые открыв купленный в 1979 году на волгоградской толкучке томик Бунина. Здесь же в 1906 году умер его отец, Алексей Николаевич. На самом месте усадьбы – я уже знал об этом, не осталось ничего, кроме нескольких кустов сирени. Издалека, из-за прудов, Виктор Иванович снова и снова снимал пейзажи: деревья, переходящих через дорогу гусей и, нехотя отрывая глаза от очередного предмета своего внимания, медленно произносил: своё «да-а...» Далее путь наш лежал тем самым скорбным маршрутом – в Грунино, Грунин-Воргол, которым везли в последний путь отца писателя к кладбищу при Грунинском храме.

Вид, открывавшийся нам при подъезде к Грунину, порадовал нас – уже издали виднелся храм, и вокруг него чернела расчищенным чернозёмом площадка. От бывшего бурьяна не осталось и следа, и свод алтарный светился новой кирпичной кладкой. У стен храма стояла автовышка, в её люльке виднелся человек, делавший какую-то работу у алтарного карниза. Внизу, глядя из-под руки, сначала вверх – на рабочего, потом в сторону – на нас, рассматривавших на расстоянии храм, стояли женщины и молодой мужик. Когда взгляд его опустился, он увидел нас и зашагал в нашу сторону. Ещё издали я узнал его – это был Евгений, живший в Каменке-Буниной. Он занимался историей края весьма распространённым в наше время, почти варварским, способом – «чёрной археологией», заключающейся в поиске древностей с помощью «металлодетектора», который по-простому в народе зовут «миноискателем». Поздоровались. Оказалось, что он год назад переехал в Грунино. Он помнил нашу встречу с Лихоносовым, когда два года назад мы заехали в Бунино, и показал коллекцию найденных на усадьбе бунинских прадедов: кресты, пряжки, пуговицы с места усадьбы Буниных – оно в ста метрах от его дома, и даже подарил один крестик Лихоносову, который был от этого подарка в полном восторге. И сейчас, узнав нас, секунду подумав, сказал:

– Пойдём! – И зашагал к своей «Ниве». Я подошёл к нему, огляделся.

Покопавшись, Евгений достал несколько металлических предметов: пуговица, пряжка, гвоздь...

– Восемнашка, – сказал он на языке, который известен и «чёрным» и «белым» археологам. Значит, XVIII век. Поговорили, обсуждали, где было место, откуда начинало заселяться село, где было кладбище. Где-то здесь была могила Алексея Николаевича Бунина, но теперь не только следов его могилы, но и от самого кладбища и признака не осталось. Прав был Бунин, вспоминая отца и писавший ещё в шестнадцатом году, что спустя десять лет с его смерти, верно, не осталось от могилы ни следа – «всё скотина столкла».

Уже позже, когда мы вернулись в Польское, Виктор Иванович, думая о своём, задумчиво сказал:

– А ведь он так и не был на похоронах ни матери, ни отца... Нет, не был...

Я понял – он о Бунине. Он то ли осуждал его за это «последнее непростительное», то ли пытался понять – как же так вышло, что «не был». И эти его размышления шли от него самого, он будто бы примерял на себе: как это – не быть на похоронах родителей. Сам он недавно похоронил мать и теперь, спланировав нынешнюю поездку, всё думает на обратном пути попасть под Бутурлиновку, в сало Елизаветино, где родилась она, его мать. Словно казнясь, он говорил:

– Ведь мог же я раньше побывать там, пока мать ещё была жива. Мог... Это было так важно – побывать, пока она была жива, и рассказать ей потом, как там, и кого видел. Теперь там живёт ещё наша родня. А матери вот уже нет...

Горек долг сыновний, свят. Всё его существо в эту минуту говорило об этом.

Пока Евгений давал мне эти находки, чтобы я подарил их Виктору Ивановичу, он уже обходил храм, и всё снимал и снимал – сам храм, пейзажи, видимые от него, и дома, и женщину, которая смотрит за храмом. Он так обрадовался ей, словно родной, когда она сказала, что этот храм кормит отец Василий. И он уже чувствовал через одно только это одно упоминание знакомого ему человека, и ценимого им...

Евгений нарисовал сложную схему полевой дороги до Озёрок, и без неё мы наверняка бы заплутали, а нашли бы нескоро: в тех местах, от Грунина нет ни одной живой деревни до самой Буниной и спросить было бы не у кого. По этой схеме мы быстро выехали на дорожку-большак между Озёрками и Осинowymi Дворами. И хотя все приметы почти на одно лицо: та же небитая дорога, те же деревья и кусты, но какие-то неуловимые признаки указывали: а! вот и знакомое место. Вот и низинка, в которой объезжал когда-то лужу. Слева показалось Круглое – купа деревьев.

В Польском нас уже ждали петрищевские – весь хор. Весь вечер пели.

Допоздна перекидывали фото на компьютер. У Виктора Ивановича четыре фотоаппарата и горсть флэшек. Провода, сим-карты. Телефон, узелок с лекарствами, пакеты с харчами, сумки с вещами – всё это вынимается из четырёх сумок, быстро и в произвольном порядке заполняет пространство избы. Везде: на столах, стульях, на полу и кровати – стоят сумки и вынутые из них «филиалы» – пакеты, и Виктор Иванович каждый раз, о чём-то говоря: – Куда же я её дел? – перебирает по нескольку раз сумки, пакеты, куртки и всё что-то ищет...

1 сентября. Едем в Осиновые Дворы. Вокруг – простор, тоска и печаль. Стояли в низине оврага, разделяющего деревню, словно в «чаше жизни», из которой во все стороны открывались пейзажи невероятной красоты. А вокруг, почти не задевая нас, шёл дождь и из туч разных форм и оттенков хлестали сотни молний, а мы всё смотрели на это буйство, как зачарованные, и снимали, снимали, снимали... Возвращались через Знаменское. У поворота с асфальта в Знаменку с Измалковского большака у столба-указателя сидит чёрно-палевая такса, и В.И. останавливает:

– Стойте, стойте, я сниму! – и снимает собаку, а попутно и указатель, и куст у дороги. Все встречавшиеся нам в дороге указатели с названиями сёл и деревень, известных ему по Бунину, он снимает обязательно, чтобы сохранить в фотопамяти – тогда они станут путеводителями по многочисленным снимкам, большая часть которых изображает деревья со склонёнными ветвями, дорогу или выцветший куст татарника с растрёпанными седыми головками, которые встречаются нам на каждом шагу. И почти на каждый из «видов» он делает три-четыре дубля – и всё разными фотоаппаратами. Один из фотоаппаратов он сразу доверил мне:

– Вот это хороший, современный фотоаппарат, я его перед поездкой купил за пятнадцать тысяч.

Несмотря на обилие техники (а у него ещё и два диктофона, один из них, подаренный ему пять лет назад – «хороший, японский», – он ни разу ещё не включал, так как «к нему нет никакой инструкции») он умеет лишь «щелкать виды», не зная, какие есть ещё функции. От такого простого обращения с вещами (будь то фотоаппарат, ботинки или сломанная, как сувенир, палка-посох, старый фотоаппарат приобретает вид почти камуфляжный, а оптика замутнена, словно её протирали посудной тряпкой. При этом В.И. трепетно охраняет крышки от объективов. Крышка от старого фотоаппарата привязана у него к длиннущему фоторемню с большим, почти альпинистским, карабином, и она всё время, как только приседаешь в поиске лучшего ракурса, волочится по земле. А на новом фотоаппарате такого шнурка нет, и В.И. сетует, снимая крышку и держа её отдельно от фотоаппарата и говорит тоскливым, тонким голосом, с укоризной:

– Вот видите... почему-то у этого фотоаппарата нет шнурочка, чтобы он был привязан к нему и не потерялся, – и поднимает голос возмущённо, язвительно. – Нет даже дырочки в ней, чтобы привязать! «Японцы!» не могли догадаться сделать хотя бы дырочку, я бы сам нашёл шнурочек и привязал... О-ёй... «японцы»!

При этом лицо его как у старого учителя, укоряющего записного шалуна-школьника, совершившего очередную мелкую провинность: «Ну что же ты, братец?... А?»

Речь Виктора Ивановича, как ни у кого – музыкальна, и это «о-ёй» звучит у него всегда в одной тональности как «ми – до диез», и чаще всего – а особенно при размышлениях вслух – она звучит как печальный романс, иногда, впрочем, и ироничный. Его речь вполне можно положить на ноты, в подстрочнике. Так, наверное, музыкально звучали в подлиннике «Слова о полку Игореве», так говорила баба Маня – Мария Ильинична Кузнецова, жившая на той стороне пруда – из одноворок. Не зря же говорится: «говорит монотонно», т. е. на одной ноте, и это понимается, как «надоедливо». Я никогда не видел матушку Виктора Ивановича и не слышал её речи, но мне кажется, что эта мелодичность речи у него – от неё, рождённой недалеко от Бутурлиновки Воронежской области. Её родное село Елизаветино и село Гвазда, откуда в 1818 году вышли и мои предки (два четырежды прадеда, и оба Иваны) – стоят на одной речке – Осереды, в 20 км друг от друга, и это те же самые одноворческие места, которые у воронежских фольклористов считаются самыми песенными.

А через минуту Виктор Иванович уже забывает «о шнурочке», поскольку видит пасущуюся в логу лошадь, и он делает охотничью стойку, припадает на колено, задумчиво целится, выбирая кадр. Теперь он весь там, в этом кадре, и забывает при этом, что на руке у него, на шнурке висит фотоаппарат – «мыльница», а свой старый «кэнон» с длинным объективом, он, не глядя, опускает на шнурке на землю. Когда после снимка он ищет его в траве, то приподнимает его, и из квадратного зрачка окуляра сыплется земля.

– Да, ничего страшного, – спокойно говорит Виктор Иванович, счищая пальцем и вытряхивая землю из объектива, а для верности дунув на него пару раз. – Он очень надежный и неприхотливый.

Он снова становится в стойку, увидев «кадр» – облако в виде огромной белой перины, из-за которого пробиваются лучи солнца, а на лазурном небе – черно, графично лежат два дерева без единого листочка, лишь черные ветки видны на этом фоне. И он приседает, снова и снова выискивает кадр, делает еще два-три щелчка и ищет новый фотоаппарат, чтобы для верности запечатлеть эти лежащие деревья. Он так и не сводит глаз с деревьев, будто они могут убежать, несколько раз хлопает по всем карманам, приговаривая:

- Да куда же она делась...

- Что вы ищите, Виктор Иванович?

- Да «мыльницу»! Где-то я ее, кажется, оставил, а нужно сделать этот кадр, чтобы было наверняка...

- Какая мыльница?

- Красная.

- Она у вас на руке висит.

- Что? – не слышит Виктор Иванович.

- На руке висит! – кричу я ему, сложив ладони рупором и для верности показывая пальцем. Идет второй день, а я уже охрип.

В.И. осматривает приподнятые руки и, увидев красную «мыльницу», вскидывает брови:

- А! На руке... - и снова принимает стойку.

Слышит В.И. неважно, оттого у него в левом ухе – слуховой аппаратик, заметный только по пластиковой трубочке, огибающей ухо. Она – телесного цвета и почти незаметна. Когда мы возвращаемся в деревню и сидим, занимаясь каждый своим делом, в доме стоит обычная деревенская тишина, изредка нарушаемая далеким, едва слышимым лаем озерских собак, его аппаратик издает вдруг тихие пронзительные звуки высокой частоты – «фонит», и мне эти звуки высокой частоты кажутся даже со стороны неприятными и резкими, а каково же Виктору Ивановичу воспринимать их в самом ухе! Но лицо его ничего не выражает – видимо, привык. Прислушиваясь к тому, что говорит его собеседник, он постоянно закладывает указательный палец в ухо с аппаратом, наклоняет голову вниз и к собеседнику.

Ложимся спать... В форточку от прудов веет теплым, влажным травяным духом... В темноте Виктор Иванович, видимо перебирая впечатления очередного дня, в самых памятных местах тихо и очень образно произносит свое длинное «да-а-а», и мне даже кажется, что из многочисленных впечатлений он сейчас имел в виду этим своим «да-а»...

2 сентября.

Под утро сознание обеспокоилось: прокручивал очередной намечаемый маршрут – меня приглашали в Липецк, но движок у машины хандрит, как бы чего не случилось. Встал пораньше, пока В. И. спал, тихо вышел, открыл капот – опять масло пошло в карбюратор. Дела неважные, но, может, это и к лучшему – не смогу поехать на намечаемую сегодня встречу в Липецк. Созвонился, дал отбой. Но нам с Виктором Ивановичем еще столько надо объехать! Надо что-то делать. Пошел к Володе: не поможешь? Он замялся:

- Оно бы и можно, но бензина – на дне, а до заправки в Становом – сам знаешь.

Я достал НЗ – полную канистру с бензином. Все. Едем в Готово.

Готово, мост через Семенек, запруда, из которой торчат затопленные деревья, узким извилистым пространством обозначая истинное русло запруженной речки. На мосту, глядя то

на воду, то на один берег, где когда-то стояла усадьба Пушешниковых, то на другой, где и сейчас виднеется «дом управляющего Туббе», в котором жил управляющий и его дочь, чей милый юный вид и картавая речь так пленяли юного Ваню, Виктор Иванович сказал вполне ожидаемое:

- Вы знаете, я отчего-то так люблю Колонтаевку... Может, из-за названия.

И мы поехали на другой берег Семенька, в сторону Колонтаевки. Дорога, по которой Бунин когда-то то ездил, то пешком прогуливался до Колонтаевки, быстро кончилась: ее пересекала трасса очередного газопровода, идущая из неведомых местным жителям недр Сибири в еще более неведомые европейские страны. Дальше, через эту изрытую трассу мы проехать не могли, но нас звала дорога, замуравленная, затянущаяся, но все ещё видимая. Та самая, что помнит спокойный, как нам кажется, шаг Бунина. И мы, оставив машину и Володю, со словами: «мы только чуть пройдемся, глянем», пошли в сторону зеленой кущи, в которой размещалось то, что называлось прежде Колонтаевкой. Справа поле уходило в небо, слева, за забурьяневшим лугом, в низине тек неприметный, изредка прослеживаемый то изумрудной зеленью влажной травы, то парой-тройкой печальных лозинки, Семенек. За ним, без приметных кустов, деревьев и чего либо еще, что напоминало бы о цивилизации, поднимался бугор правого берега, и тоже уходил в небо. Мы шли, стараясь всем видом показать оставшемуся у машины Володе, что вот сейчас мы, скоро, совсем не далеко и не надолго, пройдемся лишь чуть поближе к Колонтаевке, но чем дальше шли, тем больше понимали, что просто так, подойти и поглядеть на Колонтаевскую рощу издали, мы уже не сможем. Виктор Иванович снимал дорогу, и едва приметную тропинку, спускавшуюся к речке, и деревья, что ровным рядом обозначали деревенскую межу, и снова радовался, что он в Колонтаевке. Но радость у него выходила какая-то печальная.

На обратном пути, размахивая очередным разноцветным сувениром, предназначенным напоминать потом о Колонтаевке – букетом полевых цветов, Виктор Иванович, все кричал:

- Прощай, Колонтаевка!

Вернулись в Глотово. Стали искать дом, где жил описанный Буниным столетний дед Таганок, и в порядке домов за «домом Туббе» мы встретили его дальнюю родственницу. Виктор Иванович сфотографировался с ней, и она показала нам, где жил ее древний предок. Выяснилось, что в этом порядке домов, где она живет, много кавказцев скупил дома. Снимая на ходу из машины один из домов, мы привлекли их внимание, и нас стала «сопровождать» машина с двумя черноволосыми смуглыми мужичками с агрессивными лицами.

Дом Таганка оказался цел, хозяева разрешили нам походить и по нему, и по усадьбе, а подъехавшим к дому и стоявшим поодаль кавказцам сказали что-то, и те уехали. Теперь в этих местах стало много «кавказца»: в Глотово, Знаменке и в Озёрках вольно пасутся их стада, а пастухи – местные мужики.

На месте усадьбы Пушешниковых, через которую прошла дорога – памятный камень. Еще в последнее советское время заведена была мода – поставить камень с надписями о том, что вот здесь когда-то «что-то было» или о том, что «что-то будет построено» - но в этом случае еще обязательно капсулу зароят с высокопарными словами «будущим потомкам». Правда, многие такие камни так и оставались лежать, и на них, заросших травой и кустами и теперь, спустя три десятка лет можно еще прочитать, что тут будет «аллея» или «дворец молодежи», но все чаще строятся махины «гипермаркетов».

Домой дорога опять через Знаменку, и опять у храма В.И. просит остановиться, и опять достает свои фотоаппараты...

Вечер, Польское. Договариваемся с Володей, что утром он захватит нас по пути в Елец и завезет в Петрищево:

- Ладно. Подходите завтра к 8-30.

Дома вечером В.И. разбирается с фотоаппаратами, вздыхает:

- Да... Колонтаевка... – и мы вспоминаем это, самое, пожалуй, пустынное теперь, и такое любимое Буниным место.

- Виктор Иванович! А я впервые там побывал двадцать пять лет назад, но тогда это была деревня с брошенными домами, а теперь видите – уже непроходимые дебри, почти лес. И я тогда об увиденном написал.

- Да? И у вас есть с собой?

- Есть, все же на компьютере.

- А почитайте, - оживляется В.И.

Включаю компьютер и читаю ему о его любимой Колонтаевке:

«Четверть века назад, объезжая бунинские места под Ельцом, заехал я в Колонтаевку. Ту самую, где любил бывать Бунин, прогуливаясь по окрестностям Глотова. В ней, за разросшимися, задичавшими садами, стояли дома, тогда еще почти все целые, но пустующие. Стены их по скудости в здешних местах строевого леса и из-за вечной крестьянской бедности были сложены из поленьев на глиняном растворе, словно из кирпича, крестовой кладкой, оштукатурены и выбелены снаружи и изнутри известкой. У домов - треснутые оконные стекла, открытые двери, на крыльцах - трава, пробивающаяся в щели досок.

Пыль, запустение, брошенные столы в избах, фотографии и письма в рамках. А на крыльцах - дорожки снующих муравьев: от муравейника во дворе и куда-то внутрь дома, отчего выжженные солнцем и вымытые дождями доски крыльца кажутся костями дома, тускло, мертвенно и мутно глядящего на мир пустыми глазами окон. С крыльца одного из домов виден сруб колодца с редким для этих мест журавлем, коровьи следы в болотистой низине у пересыхающей речки. За низиной, в которой потерялась речка - противоположный берег, крутой и кочковатый от кротовин, монотонно заросший травой без единого предмета, указывающего на величину пространства. Все тихо, безлюдно, странно в своей пустынности. Место, где совсем недавно обитали человеческие страсти, сегодня - труп деревни»...

- Боже мой... как печально все это. Как тоскливо-трогательно. Вот жили люди... трудились, детей растили. Бунин ходил по этой дороге. Бегали детишки по улицам, а потом вдруг... н-да... Вы мне сбросьте все это, все что у вас про эти бунинские места. Хорошо?

Он посидел еще немного за столом, записывая что-то в свою толстую записную книжку... Уже снят его слуховой аппарат, и свет потушен; в постели, в темноте, он вздыхает:

- Да... Бунин, Бунин...

А я в свою очередь, тоже, про себя: «Эх, Виктор Иванович, Виктор Иванович...». И мне кажется, что я до мелочей, до оттенков чувствую то же, что и он... Спим... А собаки – ничего, под них даже спится лучше. По их ровному бреху ясно, что это они так, для порядку, да для миски завтрашних харчей, подсказывают хозяину: мы на службе, спи спокойно.

Спим... Виктор Иванович все равно ничего не слышит, кроме того, что является ему во сне. Но об этом – Бог даст – мы все еще прочитаем. Когда-нибудь. Он спит, а во мне опять слышны и его голос, и его речь, и вся та неспешность, с которой он говорит, и глуховатый тембр, и я понимаю, что как же близки эти интонации к тем, известным мне людям – и мой отец, и дед, и друг Шукшина Александр Петрович Саранцев, и сам Шукшин – их предки с верхней Волги, и есть в них что-то общее, коренное.

3 сентября.

Утром, как рассвело, сходил на пруд, покидал удочку – авось на ущицу наловлю. За всю зорьку попалось только пара карасиков, да чуждый, заморский гость – ротан, ставший в наших прудах почти хозяином. Три рыбешки - ни туда, ни сюда – на уху не хватит, а на сковородке – смешно, едва середку прикроет. Оставил их плавать в ведерке, с которым ходил на рыбалку – выдастся еще полчаса на зорьке, подловлю. А солнце уже высоко.

- Виктор Иванович!... А, Виктор Иванович!.. – я успел сварить кашу, шкворчит на плитке яичница, и я кричу, стараясь разбудить его. Он не слышит, и приходится шумнуть чуть громче.

-А? – поднимает он голову.

- К Петрищевским едем?

- Что? – прислоняет он ладонь к невооруженному уху.

- К Петрищевским едем или нет?

Он понимает, улыбка на его сонном лице, и он тут же, выпрастывая руки из-под одеяла, реагирует:

- Ну а ка-а-к же! – и беспокоится. – А что, поздно уже? Время у меня есть?

- Еще минут сорок. Полчаса на завтрак, пять минут – дойти до Володи.

Он уже надел на ухо свой пищущий аппарат, и, услышав, что каша и яичница готовы, говорит уже потише:

- А... Так это замечательно. – Он одевается, что-то ищет попутно. – А то, вы знаете, мне снился Бунин. Странно так... Что-то, вроде, из «Жизни Арсеньева», но он уже взрослый... Трудно передать, а чувствовалось что-то печальное и трогательное. Дом, усадьба... Трудно передать.

- Ну вот, и сон вам в руку. Едем на усадьбу, в Озерки. Володя, наверное, уже машину прогревает.

Завтракаем и идем «на ту сторону». Подошли к дому Володи, и еще издали видим, что машины нет.

Стукнули в окошко. Вышла Наталья:

- Да он еще вчера уехал.

- Как?

- А ему не понравилось, что я ему стала высказывать. Распушила его – он и уехал.

Ну что ж...

- Виктор Иванович. Что Бог ни делает – все к лучшему. Пошли пешком?

- Да коне-ечно! Прогуляемся до Озерок.

- А вы чего – пешком собрались? - Спрашивает Наталья.

- Да нам что – мы люди вольные, Собрались, да пошли.

- Да и я, наверно, уеду.

- Чем?

- Да ничем! Пешком в Елец пойду! Брошу все, да уйду! – Грозится. Пешком ей тяжело, но досада, видать, еще крепче.

- Ну, смотри. Мы на Озерки подались. - И мы, вдохновленные уже одной только предстоящей пешей утренней прогулкой, идем за деревню.

- А в Петрищеве как? – спрашивает В.И.

- А чего волноваться – позвоним Мише в Петрищеве, он за нами подскочит.

- А! Это хорошая мысль.

И мы идем, радостные от предстоящей дороги «к Бунину». У околицы звоню Мише. Он только спросил:

- А вы где сейчас есть?

- В Польском, выходим в Озёрки.

- Ждите! Это мы махом!

Только успели пройти часть дороги, навстречу запылила его машина. Через четверть часа мы были в Петрищеве, в клубе, в библиотеке. Сошелся «наш» народ, говорили, пели. А к вечеру в Озерках нам должны были открыть усадебный дом и провести экскурсию. Но позвонили и сказали: сегодня не получится, давайте назавтра. И Михаил повез нас в Бунино, а Озерки мы решили оставить назавтра вместе с музеем - пообещали, что музей откроют до обеда.

4 сентября. Не дожидаясь машины, пошли в Озерки. Подошли к дому Натальи – заперто. Ушла, уехала? Пошумели ей: может на огороде, в саду? Нет. Да и запирает она только тогда, когда совсем уезжают. Значит, не зря грозилась вчера - уехала. Позавчера, когда были у нее в гостях, Виктор Иванович жаловался:

- Что-то я зябну.

И Наталья протянула ему шерстяные носки:

- Надевай, Виктор Иванович, я не топила, по полу тянет, потому ноги и мерзнут.

- Да? – замялся Виктор Иванович.

- Надевай, надевай! Свойские, сама вязала!

Он надел их и повеселел.

Шли вдоль березок и рассуждали, когда же Наталья уехала? И с кем? Вдруг Виктор Иванович остановился, на лице его появилось лукавое выражение и он, будто читая для меня уже известный ему рассказ, сказал:

- А вот неплохое начало для рассказа: «Утром он зашел к ней, чтобы вернуть носки. Но ее, к счастью, не оказалось дома...» А! Каково! – и продолжил. – «И он так и уехал, в глубине души тая надежду, когда-нибудь вернуться к ней и вернуть носки. Но так и не приехал... А она тихо и печально сидела вечерами у раскрытого окна и вязала все новые и новые носки для очередного заезжего кавалера...» А!? Совсем по-бунински. - Торжествовал Виктор Иванович.

- А рассказ так и назвать, тоже почти по-бунински – «Носки», - подхватил я. - И закончить сюжет так: «Спустя двадцать четыре года он тоскливо смотрел на стершиеся до сплошной дыры подошвы обветшавших носков и, чувствуя глубокую печаль, тревожившую его душу все эти годы, тяжело вздохнув, выбросил их...»

Рассмеялись...

- Стоп! – вдруг опять остановился Лихоносов и, порывшись в сумке, достал томик с «Жизнью Арсеньева» Бунина. – Вот что я придумал – совершенно гениальный ход! Ручка есть? – он открыл обложку и протянул книгу мне. – У вас почерк хороший. Пишите вот здесь: «Идем из Польского в Озерки. Лихоносов. Новосельцев» и сфотографируем друг друга с этой надписью.

Дальше он шел, весело рассуждая:

- Это за какие же невероятно большие деньги после нашей смерти на аукционе будет продана эта книга с такими надписями! Только давайте поднимем ее ценность нашими автографами. Обя-за-ательно подпишемся. Как же!..

Снимались в березках, снимали коровье стадо, стоявшее в березках и испятнанное солнечными бликами, и поле, и высокое ясное небо над верхушками деревьев...

Пока никого не было, обошли усадьбу, дом. Потом, уже в доме, Виктор Иванович не спеша обошел его весь, вглядываясь в полупустые его интерьеры. Я не мешал ему. Уходя, он сел за стол в «кабинете отца» за книгу отзывов и написал то, что, верно, написал бы сам Бунин:

«И поля, и раскрытое во всю ширину небо, и оставшиеся уголки усадеб и деревень, и колеи дорог, и татарник, кусты шиповника, и «дом Таганка» в Васильевском (Глотове) и (о чудо!) вороны над Озёрками, и над храмом в Знаменском – все возвышенной печалью напоминало мне о Бунине, которого я полюбил еще в Сибири (в 1955 году), когда мне привезли из Москвы 6-томник в издании Маркса... И о себе самом вспоминал я в эти дни везде – в Польском, в Каменке, в Осиновых Дворах и в Васильевском, - потому, что и моя жизнь прошла (почти). Дай Господи уцелеть нашей России, душа просит, ибо здесь, в бунинских местах, видишь ее красоту, чувствуешь ее историческое величие... Господи, береги Озёрки и дом Буниных...»

В. Лихоносов (из быв. Екатеринодара)

Озёрки, 4 сентября 2010 года».

Мы уже подходили к Польскому, когда опять сзади послышалась машина – к нам ехали петрищевские. Тесно, со смехом, вшестером подъехали к моему дому.

Вынесли стол из дома, достали все лавки, стулья, табуретки и посуду, сели на поляне перед домом. Заставили весь стол привезенными домашними припасами. Следом из дома явилась гармонь. Пели. Славно пелось, и даже к неизвестным им, народным песням быстро подлаживались – все же хор! Петрищевские поэты – Михаил и Люба читали свои стихи, которые радовали Виктора Ивановича, поглядывавшего на меня: а! до чего талантлива земля бунинская! Но к восьми вечера они засобирались: сегодня пятница, библиотекарь и завклубом в одном лице, Р.М. должна открывать клуб для «дискотеки», и ей нужно весь вечер быть на месте. Она отозвала В.И. и подарила ему шерстяные носки, связанные ее дочерью, чем привела

его в тихий внутренний восторг. Через пару минут машина запыхтела в сторону Петрищева. Не успели помахать им вслед – по плотине к дому подходил сосед с той стороны, Саша.

- А вы здесь диск включали или сами пели?

Теперь так редка в деревнях русская песня, что воспринимается как экзотика, как «радио».

На той стороне остановилась машина, по плотине в нашу сторону шагал незнакомый человек:

- А вы тут мясо, случаем, не продаете?

Какое теперь мясо в Польском! А прежде сколько было скотины - каждая травинка была при деле, и знать не знали, что такое – бурьян или сухостой.

Вечером - баня на усадьбе знакомого.

После бани мы собирались к завтрашнему отъезду.

Завтра уезжать. Виктора Ивановича из Ельца будет забирать машина в Ясную Поляну.

Собираясь в дорогу, укладывая свои многочисленные вещи, он остановился... В руках у него был пуховый платок.

- А вы знаете, дорогой А.В., ведь она мне подарила вязанные носки. А вот этот платок я почему-то, когда ехал на поезде, то на одной из станций, неожиданно для себя купил. Подумал – а пусть будет мне как память о матери, как бы ей я купил его. А теперь, после такого подарка – вот этих носков, я понял, что платок этот нужно подарить Р.М. А? Как вы думаете? Мы завтра, по пути в Елец, сможем заехать в Петрищево и вручить ей этот ответный подарок?

- Конечно.

Уложили сумки. Я «сбрасывал» всю массу сделанных фотографий на компьютер, потом – ему, на многочисленные флешки. Он сидел, писал в свой толстый блокнот.

- А.В.!

- Да...

- А что вы можете, как писатель, сказать обо всем об этом? – спросил он меня неопределенно.

Я не понял смысла заданного вопроса.

- Обо всем? О чем, В.И?

- О чем? Эх вы... Вы, как писатель, вполне могли бы догадаться и понять, как непросто теперь в душе старого, пожилого писателя, вдруг проникшегося такими, вполне юношескими, чувствами к одной за-ме-ча-тельной особе...

- А это вы о развитии сюжета нашего с вами рассказа «Носки»? Да конечно, В.И.! Это было заметно еще с первого вашего визита, насколько вы равнодушны к этой замечательной особе. И эти ваши звонки ко мне, в которых вы непременно передавали привет всем, и ей в том числе. А теперь еще эти носки.

- Да-а... - неопределенно, задумчиво говорил В.И. – А вот скажите, отчего, как вы считаете, так одиноки бывают вот такие замечательные женщины? Их много по всей России, и они одиноки, с несложившейся судьбой?

Ответа он не ждал, ему хотелось высказаться. И он продолжал размышлять вслух:

- Да и потом: что нас может ожидать в будущем? А? Ведь это только мечты – это я рассуждаю, как человек, умудренный опытом. А влюблен совершенно по-юношески! Как же много в этом бунинского...

Он задумался... Я продолжал свое техническое дело, а он, сидя с торца стола и положив дневник на коленку, что-то увлеченно писал. Спустя час он оторвался и с радостным, азартным видом, сказал:

- Ага! Вот так! Есть целые две страницы!

И он стал читать. Написано было от третьего лица – что-то о чувствах, об увлечении. И было похоже не на дневник, а на готовый рассказ.

5 сентября.

Отъезд. Но до него была зорька, еще до солнца, поднимающегося из-за берез. Вышел к пруду с удочкой: хоть полчаса, но - мои. В розовом пруду тихими кругами расходилась вода – то ли рыба играет, то ли водомерки беспокоят утренние воды. Закинул, но поплавок лежал, будто досыпая за меня утреннее времечко, и у меня вместо того внимания, которое требует поплавок, прошли чередой все наши с Лихоносовым дни. Явилась дорога из Кропотовки и Шипово, то, как увидев вдали очередной пустой храм, он спросил:

- А как вы относитесь к нынешнему патриарху?

Я сказал ему обычное, что как можно обсуждать священников? Конечно, нельзя не увидеть, что слишком много сейчас в церкви политики, и вспомнил, что как раз в тот же день, когда приехал Виктор Иванович, в епархию приезжал патриарх. Виктор Иванович крестился на пустой купол полуразвалившегося храма и с сожалением говорил:

- Конечно, не мне советовать, но Патриарху следовало бы один раз в год приезжать в такие вот глухие места и служить молебны не в блистающих золотом и покрытых коврами дорожками храмах, а вот в таких, брошенных... Может, они скорее бы возродились...

Буквально следом, в сенях одного из домов в Петрищеве, куда мы зашли, лежала «Липецкая газета» с крупным заголовком и цветной фотографией на всю страницу: о визите Патриарха и вручении губернатору, который заявлял недавно, что «Бунин – белогвардеец и любитель фашизма», что «из-за Пришвина Розанова выгнали из гимназии», очередной высшей церковной награды. И Виктор Иванович не удержался, сфотографировал этот цветной официальный восторг и снова вспомнил о брошенных храмах, к одиночеству которых он относился так же, как к одиночеству людей...

Я очнулся, когда поднявшееся из-за березок солнце, отражаясь от пруда, слепило глаза и поплавок за эти светом уже не было видно. Я вынул прибившуюся к берегу снасть с пустым крючком. Что ж, пора ехать. Я глянул в ведро, в котором на дне стояли три узкие тени, ожидавшие своей участи, и вылил их с водой обратно в пруд.

По дороге в Елец заезжаем в Петрищеве. Лихоносов достал пакет с платком, держит его в руках. У дома Михаила дымит костер, сам он с озабоченным лицом стоит перед горкой рамок для ульев, показывает на них:

- Вот, приготовил про запас рамки для ульев, а их все насквозь моль проела. Видите, что творится! - он выбирал из рамок жирных личинок моли и бросал их в костер.

Оказалось, что Р.М. не было дома.

- Она на картошку уехала. С родственниками убирает. Вам показать, как туда проехать?

Гляжу на Виктора Ивановича – поедem?

- Да что теперь, меня машина ждать будет, мне ж еще в Тулу ехать. Ладно. Вы, тогда с Шурой передайте ей вот этот пакет... - и отдал его Михаилу.

В Елец мы успели вовремя, машина еще не подошла и мы, ожидая ее, поехали в музей. Посидели в бунинском музее, поговорили с Тamarой Георгиевной. Но вот и машина подошла машина, и мы попрощались...

Дела городские закрутили меня, но вечерами, стоило только отвлечься от дел, сразу вспоминался Виктор Иванович. Да он и сам напоминал о себе звонками, рассказывая, где он сейчас, но больше его занимали воспоминания о наших совместных днях и поездках.

- А вы знаете... напишите обо мне, будет гениальная вещь и вы прославитесь на весь мир, - начал Виктор Иванович почти весело... Потом голос его потускнел, и он почти пропел в трубку – грустно, распевно... - о всех наших таких замечательных поездках, обо всем этом унынии, об этой вечной, вселенской заброшенности, в котором мы с вами еще способны разглядеть и величие той самой России, и тот самый, бунинский, лермонтовский мир, и опишите всю эту глушь и запустение. И назовите все это – «Скорбь»...

- Но, В. И., мне придется многое придумывать и додумывать, а у меня рука не поднимется писать о том, чего не было и что я могу только представить. А мне так хочется пока как можно точнее передать ваши слова, речь.

- Ничего, можете и придумать. Обещаете мне?.. пишите, дорогой мой А.В., пишите непременно, и не забываете меня... Обнимаю вас.

Все, что я записываю – лишь стенография наших с ним разговоров и впечатлений. Хотя «стенография впечатлений» понятие уже само по себе не более, чем «субъективизация объективного». Это футбольный матч можно комментировать стандартным языком – у кого мяч, кто куда бьет или дает пас, и на какой минуте был забит мяч.

В первый же день, когда я спел ему песню «На тропе», он все время ходил и тихо мурлыкал ее, а когда доходил до слов: «Не хо-оди, не ходи ты, хороший мой...» то пел уже в голос, и особенно с чувством, и спрашивал. – Интересно, откуда эта замечательная песня?

Я нашел в своих старых записях размышления об этой песне. Он внимательно выслушал и, глядя поверх очков, показал пальцем на статью, сказал:

- Вы мне ее сбросьте, - и нацелился ручкой на новую страницу блокнота. – А слова этой песни прочитайте, я их сейчас запишу...

И он записал все слова, но, не заглядывая в блокнот, напевал лишь одно: «не хо-оди, не ходи ты, хо-роший мо-ой...», а я подхватывал: «...и в око-ошко мое не стучи!» Славно выходило. А напевал он ее потому, что, наверное, связывал ее с обликом той, которую называл «замечательной особой» и ее судьбой – больше выдуманной, чем узнанной.

- Да-а-а... - это уже мой вздох, так похожий на вздох Лихоносова, и это быстро напоминает мне то наше общее состояние, при виде нынешнего бунинского края, и все те слова, что отражают его: скорбь, запустение, ветхое, брошенное, но и – вечное. У Бунина это состояние вековой давности было то же!

В.И. при виде очередного дерева и пейзажа за ним:

- Как я люблю склоненные ветки... Так же, наверное, как и склоненных женщин, - и смеется.

Как же это по-бунински. Я, сопровождая его, не мог отделаться от чувства, что я все эти дни хожу с Буниным. Ничего, конечно, Лихоносов «с Бунина» не копирует, но как они кажутся мне похожими своим внутренним состоянием и восприятием мира – природы и общества. Ведь у Виктора Ивановича есть свои «Окаянные дни» - его «Госка-кручина», и эти его определения: президент-карлик, политики-дристуны.

Спустя еще один день звонок из Ясной Поляны был восторженным:

- А ведь она мне звонила, благодарила за платок! – И, как бы ища поддержки и желая поделиться – совсем по-юношески! – тем, чем наполнена была его душа, посетовал: – Но что я могу поделать со всем этим! Вы же меня понимаете! Пусть все будет по-бунински...

Наверное, глубоко и надолго это засело в нем то прочувствованное, совсем «бунинское», что живет еще в этих местах, и что-то, кроме тех двух страничек, он непременно напишет. Но в его словах и интонациях все больше слышались слова и мелодия прощания... Что-то напишет еще Виктор Иванович?..

Сентябрь 2010 – 30 апреля 2012 г. Елец и окрестности, Россия Бунинская.